

Константин
ПАУСТОВСКИЙ

Повесть о жизни

Роман

Книги I–III



АЗБУКА

Санкт-Петербург

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:

«Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное... Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».

Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.

Писатель, выражая себя, тем самым выражает и свою эпоху. Это — простой и неопровержимый закон.

В книге помещено шесть автобиографических повестей: «Далекие годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книга скитаний». Все они связаны общим героем и общностью времени. Повести эти относятся к последним годам XIX века и к первым десятилетиям века нынешнего.

Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило — их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду.

По существу творчество каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография, в той или иной мере преображенная воображением. Так бывает почти всегда.

Итак, написано шесть автобиографических книг. Впереди я вижу еще несколько книг такого же рода, но удастся ли их написать — неизвестно.

Я хочу закончить это маленькое введение одной мыслью, которая давно не дает мне покоя.

Кроме подлинной своей биографии, где все послушно действительности, я хочу написать и вторую свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий и людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал.

Но независимо от того, что мне удастся написать в будущем, я бы хотел сейчас, чтобы читатели этих шести повестей испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет, — чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни.

К. Паустовский

Книга первая

Далекие годы

СМЕРТЬ ОТЦА

Я был гимназистом последнего класса киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.

На следующий день я приехал в Белую Церковь и остановился у старинного приятеля отца, начальника почтовой конторы Феокистова. Это был длиннородый близорукий старик в толстых очках, в потертой тужурке почтового ведомства со скрещенными медными рожками и молниями на петлицах.

Кончался март. Моросил дождь. Голые тополя стояли в тумане.

Феокистов рассказал мне, что ночью пошел лед на бурной реке Рось. Усадьба, где умирал отец, стояла на острове среди этой реки, в двадцати верстах от Белой Церкви. В усадьбу вела через реку каменная плотина — гребля.

Полая вода идет сейчас через греблю валом, и никто, конечно, не согласится переправить меня на остров, даже самый отчаянный балагула — извозчик.

Феокистов долго соображал, кто же из белоцерковских извозчиков самый отчаянный. В полутемной гостиной дочь Феокистова, гимназистка Зина, старательно играла на рояле. От музыки дрожали листья фикусов. Я смотрел на бледный, выжатый ломтик лимона на блюдечке и молчал.

— Ну что ж, позовем Брегмана, отпетого старика, — решил наконец Феокистов. — Ему сам черт не брат.

Вскоре в кабинет Феоктистова, заваленный томами «Нивы» в тисненых золотом переплетах, вошел извозчик Брегман — «самый отпетый старик» в Белой Церкви. Это был плотный карлик-еврей с редкой бородкой и голубыми кошачьими глазами. Обветренные его щеки краснели, как райские яблоки. Он вертел в руке маленький кнут и насмешливо слушал Феоктистова.

— Ой, несчастье! — сказал он наконец фальцетом. — Ой, беда, пане Феоктистов! У меня файтон легкий, а кони слабые. Цыганские кони! Они не перетянут нас через греблю. Утопятся и кони, и файтон, и молодой человек, и старый балагула. И никто даже не напечатает про эту смерть в «Киевской мысли». Вот что мне невыносимо, пане Феоктистов. А поехать, конечно, можно. Отчего не поехать? Вы же сами знаете, что жизнь балагулы стоит всего три карбованца, — я не побожусь, что пять или, положим, десять.

— Спасибо, Брегман, — сказал Феоктистов. — Я знал, что вы согласитесь. Вы же самый храбрый человек в Белой Церкви. За это я вам выпишу «Ниву» до конца года.

— Ну уж если я такой храбрый, — пропищал, усмехаясь, Брегман, — так вы мне лучше выпишите «Русский инвалид». Там я, по крайности, почитаю про кантонистов и георгиевских кавалеров. Через час кони будут у крыльца, пане.

Брегман ушел.

В телеграмме, полученной мною в Киеве, была странная фраза: «Привези из Белой Церкви священника или ксендза — все равно кого, лишь бы согласился ехать».

Я знал отца, и потому эта фраза тревожила меня и смущала. Отец был атеист. У него происходили вечные столкновения из-за насмешек над ксендзами и свя-

щенниками с моей бабкой, полькой, фанатичной, как почти все польские женщины.

Я догадался, что на приезде священника настояла сестра моего отца, Феодосия Максимовна, или, как все ее звали, тетушка Дозя.

Она отрицала все церковные обряды, кроме отпущения грехов. Библию ей заменял спрятанный в окованном сундуке «Кобзарь» Шевченко, такой же пожелтевший и закапанный воском, как Библия. Тетушка Дозя доставала его изредка по ночам, читала при свече «Катерину» и поминутно вытирала темным платком глаза.

Она оплакивала судьбу Катерины, похожую на свою собственную. В сырой роще-леваде за хатой зеленела могила ее сына, «малесенького хлопчика», умершего много лет назад, когда тетушка Дозя была еще совсем молодой. Этот хлопчик был, как тогда говорили, «незаконным» ее сыном.

Любимый человек обманул тетушку Дозю. Он бросил ее, но она была ему верна до смерти и все ждала, что он возвратится к ней, почему-то непременно больной, нищий, обиженный жизнью, и она, отругав его как следует, приютит наконец и пригреет.

Никто из священников не согласился ехать в Городище, отговариваясь болезнями и делами. Согласился только молодой ксендз. Он предупредил меня, что мы заедем в костел за святыми дарами для причащения умирающего и что с человеком, который везет святые дары, нельзя разговаривать.

На ксендзе было черное длиннополое пальто с бархатным воротником и странная, тоже черная, круглая шляпа.

В костеле было сумрачно, холодно. Поникнув, висели у подножия распятия очень красные бумажные розы. Без свечей, без звона колокольчиков, без органных

раскатов костел напоминал театральные кулисы при скучном дневном освещении.

Сначала мы ехали молча. Только Брегман чмокал и понукал костлявых гнедых лошадей. Он покрикивал на них, как кричат все балагулы: не «но», а «вьё!». Дождь шумел в низких садах. Ксендз держал завернутую в черную саржу дароносицу. Моя серая гимназическая шинель промокла и почернела.

В дыму дождя подымались, казалось — до самого неба, знаменитые Александрийские сады графини Браницкой. Это были обширные сады, равные по величине, как говорил мне Феоктистов, Версалю. В них таял снег, заволакивая холодным паром деревья. Брегман, обернувшись, сказал, что в этих садах водятся дикие олени.

— Эти сады очень любил Мицкевич, — сказал я ксендзу, забыв, что он должен молчать всю дорогу.

Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что он согласился на эту трудную и опасную поездку. Ксендз улыбнулся в ответ.

В раскисших полях стояла дождевая вода. В ней отражались пролетавшие галки. Я поднял воротник шинели и думал об отце, о том, как мало я его знал. Он был статистиком и прослужил почти всю жизнь на разных железных дорогах — Московско-Брестской, Петербургско-Варшавской, Харьковско-Севастопольской и Юго-Западной.

Мы часто переезжали из города в город — из Москвы в Псков, потом в Вильно, потом в Киев. Всюду отец не уживался с начальством. Он был очень самолюбивый, горячий и добрый человек.

Год назад отец уехал из Киева и поступил статистиком на Брянский завод в Орловской губернии. Прослужив недолго, отец неожиданно, без всякой видимой причины, бросил службу и уехал в старую дедовскую усадьбу Городище. Там жили его брат Илько, сельский учитель, и тетушка Дозя.

Необъяснимый поступок отца смутил всех родственников, но больше всего мою мать. Она жила в то время с моим старшим братом в Москве.

Через месяц после приезда в Городище отец заболел и вот теперь умирает.

Дорога пошла вниз по оврагу. В конце его был слышен настойчивый шум воды. Брегман заерзал на козлах.

— Гребля! — сказал он упавшим голосом. — Теперь молитесь Богу, пассажиры!

Гребля открылась внезапно за поворотом. Ксендз привстал и схватил Брегмана за красный вылинявший кушак.

Вода легко неслась, зажатая гранитными скалами. В этом месте река Рось прорывалась, беснуясь, через Авратынские горы. Вода шла через каменную плотину прозрачным валом, с грохотом падала вниз и моросила холодной пылью.

За рекой, по ту сторону гребли, как бы взлетали к небу огромные тополя и белел маленький дом. Я узнал усадьбу на острове, где жил в раннем детстве, — ее левяды и плетни, коромысла колодцев-журавлей и скалы у берега. Они разрезали речную воду на отдельные могучие потоки. С этих скал мы когда-то с отцом ловили усатых пескарей.

Брегман остановил коней около гребли, слез, поправил кнутовищем сбрую, недоверчиво осмотрел свой экипаж и покачал головой. Тогда впервые ксендз нарушил обет молчания.

— Езус-Мария! — сказал он тихим голосом. — Как же мы переедем?

— Э-э! — ответил Брегман. — Откуда я знаю как? Сидите спокойно. Потому что кони уже трясутся.

Гнедые лошади, задрав морды, храпя, вошли в стремительную воду. Она ревела и сбивала легкую коляску к неогороженному краю гребли. Коляска шла боком, косо, скрежетала железными шинами. Лошади дрожали.

ли, упирались, почти ложились на воду, чтобы она не сбила их с ног. Брегман вертел кнутом над головой.

Посередине гребли, где вода шла сильнее всего и даже звенела, лошади остановились. Пенистые водопады бились около их тонких ног. Брегман закричал плачущим голосом и начал немилосердно хлестать лошадей. Они попятились и сдвинули коляску к самому краю гребли.

Тогда я увидел дядю Илько. Он скакал на серой лошади от усадьбы к гребле. Он что-то кричал и размахивал над головой связкой тонкого каната.

Он въехал на греблю и швырнул Брегману канат. Брегман торопливо привязал его где-то под козлами, и трое коней — два гнедых и серый — выволокли наконец коляску на остров.

Ксендз перекрестился широким католическим крестом. Брегман подмигнул дяде Илько и сказал, что долго еще люди будут помнить такого балагулу, как старый Брегман, а я спросил, как отец.

— Еще жив, — ответил Илько и поцеловал меня, исцарапав бородой. — Ждет. А где мама — Мария Григорьевна?

— Я послал ей телеграмму в Москву. Должно быть, придет завтра.

Дядя Илько посмотрел на реку.

— Прибывает, — сказал он. — Плохо, милый мой Костик. Ну, может быть, пронесет. Пойдемте!

На крыльце нас встретила тетушка Дозя, вся в черном, с сухими, заплаканными глазами.

В душных комнатах пахло мятой. Я не сразу узнал отца в желтом старике, заросшем серой щетиной. Отцу было всего пятьдесят лет. Я всегда помнил его немного сутулым, но стройным, изящным, темноволосым, с необыкновенной его печальной улыбкой и серыми внимательными глазами.

Сейчас он сидел в кресле, трудно дышал, смотрел не отрываясь на меня, и по сухой его щеке сползла сле-

за. Она застряла в бороде, и тетушка Дозя вытерла ее чистым платком.

Отец не мог говорить. Он умирал от рака гортани.

Всю ночь я просидел около отца. Все спали. Дождь кончился. Звезды угрюмо горели за окнами. Все громче шумела река. Вода быстро подымалась. Брегман с ксендзом не смогли переправиться обратно и застряли на острове.

Среди ночи отец зашевелился, открыл глаза. Я наклонился к нему. Он попытался обнять меня за шею, но не смог и сказал свистящим шепотом:

— Боюсь... погубит тебя... бесхарактерность.

— Нет, — тихо возразил я. — Этого не будет.

— Маму увидишь, — прошептал отец. — Я виноват перед ней... Пусть простит...

Он замолчал и слабо стиснул мою руку.

Я не понял тогда его слов, и только гораздо позже, через много лет, мне стало ясно их горькое значение. Также намного позже я понял, что мой отец был по существу совсем не статистиком, а поэтом.

На рассвете он умер, но я не сразу об этом догадался. Мне показалось, что он спокойно уснул.

На острове у нас жил старый дед Нечипор. Его звали читать над отцом псалтырь.

Нечипор часто прерывал чтение, чтобы выйти в сени покурить махорку. Там он шепотом рассказывал мне незамысловатые истории, потрясшие его воображение: о бутылке вина, выпитой им прошлым летом в Белой Церкви, о том, что он видел под Плевной самого Скобелева так близко, «як до того плетня», и об удивительной американской веялке, работающей от громоотвода. Дед Нечипор был, как говорили на острове, «легкий человек» — враль и болтун.

Он читал псалтырь весь день и всю следующую ночь, отщипывая черными ногтями нагар со свечи, засыпал стоя, всхрапывал и, очнувшись, снова бормотал невнятные молитвы.

Ночью на другом берегу реки кто-то начал махать фонарем и протяжно кричать. Я вышел с дядей Илько на берег. Река ревела. Вода шла через греблю холодным водопадом. Ночь стояла поздняя, глухая, ни единой звезды не было над головой. В лицо дуло дикой свежестью разлива, оттаявшей земли. И все время кто-то махал на том берегу фонарем и кричал, но слов за шумом реки нельзя было разобрать.

— Должно быть, мама, — сказал я дяде Илько.

Но он мне ничего не ответил.

— Пойдем, — сказал он, помолчав. — Холодно на берегу. Простудишься.

Я не захотел идти в дом. Дядя Илько помолчал еще немного и ушел, а я стоял и смотрел на далекий фонарь. Ветер дул все сильнее, качал тополя, нес откуда-то сладковатый дым соломы.

Утром отца хоронили. Нечипор и дядя Илько выкопали могилу в роще на краю оврага. Оттуда были далеко видны леса за Росью и белесое мартовское небо.

Гроб вынесли из дома на широких вышитых рушниках. Впереди шел ксендз. Он смотрел серыми спокойными глазами прямо перед собой и говорил вполголоса латинские молитвы.

Когда гроб вынесли на крыльцо, я увидел на том берегу реки старую коляску, распряженных и привязанных к ней лошадей и маленькую женщину в черном — маму. Она стояла неподвижно на берегу. Она видела оттуда, как выносили отца. Потом она опустилась на колени и упала головой на песок.

К ней подошел высокий, тощий извозчик, наклонился над ней и что-то говорил, но она все так же лежала неподвижно.

Потом она вскочила и побежала вдоль берега к гребле. Извозчик схватил ее. Она бессильно опустилась на землю и закрыла лицо руками.

Отца несли по дороге в рощу. На повороте я оглянулся. Мать сидела все так же, закрыв лицо руками.

Все молчали. Только Брегман похлопывал кнутовищем по сапогу.

Около могилы ксендз поднял серые глаза к холодному небу и внятно и медленно сказал по-латыни:

— *Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis!*

«Вечный покой и вечный свет даруй им, Господи!»

Ксендз замолчал, прислушался. Шумела река, и над головой в ветвях старых вязов пересвистывались синицы. Ксендз вздохнул и снова заговорил о вечной тоске по счастью и о долине слез. Слова эти удивительно подходили к жизни отца. У меня от них сжалось сердце. Потом я часто испытывал это стеснение сердца, сталкиваясь с жаждой счастья и с несовершенством человеческих отношений.

Шумела река, осторожно свистели птицы, и гроб, осыпая сырую землю и шурша, медленно опускался на рушниках в могилу.

Мне было тогда семнадцать лет.

ДЕДУШКА МОЙ МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ

После похорон отца я прожил еще несколько дней в Городище.

Только на третий день, когда сошла вода, мать смогла переехать через плотину.

Мать осунулась, почернела, но уже не плакала, только часами сидела на отцовской могиле.

Живых цветов еще не было, и могилу убрали бумажными пионами. Их делали девушки из соседней деревни. Они любили вплетать эти пионы в свои косы вместе с шелковыми разноцветными лентами.

Тетушка Дозя старалась утешить меня и развлечь. Она вытащила из чулана — каморы — сундук, полный старинных вещей. Крышка его открывалась с громким звоном.

В сундуке я нашел пожелтевшую, написанную полатыни гетманскую грамоту — «универсал», медную печать с гербом, Георгиевскую медаль за турецкую войну, «Сонник», несколько обкуренных трубок и черные кружева тончайшей работы.

«Универсал» и печать остались у нас в семье от гетмана Сагайдачного, нашего отдаленного предка. Отец посмеивался над своим «гетманским происхождением» и любил говорить, что наши деды и прадеды пахали землю и были самыми обыкновенными терпеливыми хлеборобами, хотя и считались потомками запорожских казаков.

Когда Запорожская Сечь при Екатерине Второй была разогнана, часть казаков поселили по берегам реки Рось, около Белой Церкви. Казаки неохотно сели на землю. Буйное их прошлое еще долго докипало в крови. Даже я, родившийся в конце девятнадцатого века, слышал от стариков рассказы о кровавых сечах с поляками, походах «на Туреччину», об уманской резне и чигиринских гетманах.

Наслушавшись этих рассказов, я играл с братьями в запорожские битвы. Играли мы в овраге за усадьбой, где густо рос около плетня чертополох — будяк. Красные его цветы и листья с колючками издавали в жару приторный запах. Облака останавливались в небе над оврагом — ленивые и пышные, настоящие украинские облака. И такова сила детских впечатлений, что с тех пор все битвы с поляками и турками были связаны в моем воображении с диким полем, заросшим чертополохом, с пыльным его дурманом. А самые цветы чертополоха были похожи на сгустки казацкой крови.

С годами запорожская буйность потускнела. Во времена моего детства она сказывалась только в многолетних и разорительных тяжбах с графиней Браницкой из-за каждого клочка земли, в упорном браконьерстве и казачьих песнях — думках. Их пел нам, своим внукам, дед мой Максим Григорьевич.